БОЛЬШЕВИЗМ И СТАЛИНИЗМ: ПРОБЛЕМА РОДСТВА

Ершов Ю. Г.

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедры философии и политологии Уральского института управления – филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия), 620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66, ers@uapa.ru

УДК 94(47) + 32.001
ББК 66.052

Цель. В статье рассматриваются большевизм и сталинизм через влияние политических, социальных и исторических условий и факторов на преемственность и разрыв в их взаимосвязи.

Методы. Ретроспективный анализ использует системно-генетический метод в исследовании причин возникновения сталинизма, структурно-функциональный метод – в обосновании их единства, социокультурную методологию – в изучении перехода от большевизма к сталинизму. Применяются принципы историзма и диалектики.

Результаты. Исследованы конкретно-исторические механизмы порождения большевизмом сталинизма, различия между «старым» и «новым» большевизмом, парадоксы сталинизма как выражения природы Октябрьской революции.

Научная новизна. Раскрыта преемственность большевизма и сталинизма в организации внутрипартийной жизни и разрыв между ними в качественном составе партии и идеологических ориентирах.

Ключевые слова: большевизм, сталинизм, люмпен-пролетариат, классовая ненависть, борьба за власть.

BOLSHEVISM AND STALINISM: THE PROBLEM OF RELATIONSHIP

Ershov Y. G.

Doctor of Science (Philosophy), Professor, Head of the Department of Philosophy and Political Science of the Ural Institute of Management-Branch, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Russia), 66 8 Marta str., Ekaterinburg, Russia, 620990, ers@uapa.ru

Purpose. This article discusses Bolshevism and Stalinism through the influence of political, social and historical conditions and factors of continuity and rupture in their relationship.

Methods. Retrospective analysis uses a system-genetic method in the study of the causes of Stalinism, structural-functional method to justify their unity, sociocultural-methodology in the study of the transition from Bolshevism to Stalinism. Principles of historical dialectical studies.

Results. Specific historical mechanisms of Bolshevism of Stalinism development, the distinction between «old» and «new» Bolshevism, Stalinism paradoxes as an expression of the nature of the October revolution were studied.

Scientific novelty. The continuity of Bolshevism and Stalinism in the organization of inner party life and their quality gap in the party and ideological orientations were disclosed.

Key words: Bolshevism, Stalinism, lumpish-proletariat, class hatred, struggle for power.

Менее всего сталинизм и «культ личности» проблематизируются пятидесятилетним юбилеем XX съезда – в силу формальности хронологического времени. Вопросы о масштабе и силе воздействия сталинизма на массовое сознание через более чем полвека после смерти Сталина, соответственно, о возможности иного пути развития советского общества и перспективах постсоветской России, по-прежнему более чем злободневны. Социологические опросы в последние годы фиксируют заметный рост популярности «вождя всех народов», свидетельствуя, как минимум, о неслучайности самых страшных страниц отечественной истории. Массовым настроениям соответствует тональность пропагандистских высказываний и реальной политики в современной России. Они превращают в жупел ценности, несовместимые со сталинизмом:

© Ершов Ю. Г., 2016

парламентаризм, права человека, толерантность и т.д. Тем самым призывы к десталинизации российского общества, еще иногда звучащие, превращаются в фигуру речи, не более того.

Разумеется, сталинизм без Сталина не существовал, но сам феномен сталинизма невозможно понять вне анализа условий и факторов, способствовавших «постепенному превращению малоизвестного грузинского революционера в многоликий впечатляющий исторический персонаж» [1, с. 197].

По сию пору остаются спорными, неоднозначно решаемыми и недостаточно изученными многие из важнейших политических, социальных и исторических условий и факторов, вызвавших к жизни сталинизм. Особенно в свете глубокого замечания Н. А. Бердяева о том, что «революционеры обыкновенно не понимают смысла революции, которая не покрывается их рационалистическими идеями…» [2, с.107]. Практический же аспект проблемы может быть передан парафразой: призрак Сталина бродит по России…

По мнению С. Коэна, одного из видных советологов, «самый главный, сложный и важный вопрос, поставленный большевистской революцией и ее последствиями, касается связи между большевизмом и сталинизмом» [3, с. 46]. Обозначая свою позицию, он считает, что чем меньше у историка симпатий к революции, тем меньше он видит различия между большевизмом и сталинизмом. Такой подход, считает он, примитивен, идея «непрерывности» между большевизмом и сталинизмом, по Коэну, скорее запутывает вопрос. Его аргументация вкратце сводится к следующему: «…тезис непрерывности в значительной степени затушевал необходимость изучать сталинизм как особый феномен с собственной историей, политической динамикой и социальными последствиями» [3, с. 47]. Ортодоксальная советология, рассматривая всю большевистскую и советскую историю до 1929 года всего лишь как преддверие к сталинизму (тоталитаризму), представляла этот процесс не только непрерывным, но и неизбежным. Между тем очень важно учитывать, « что большевизм содержал в себе и иные, несталинистские «семена», а «корни» сталинизма можно отыскать не только в большевизме, но и в русской историко-культурной традиции, событиях типа гражданской войны, международной обстановке и т.д…» [3, с. 54]. Поэтому дело не столько в «семенах» или иных, еще менее существенных признаках преемственности, сколько в доказательстве – или принципиальной непрерывности между большевизмом и сталинизмом, или же ее отсутствия, то есть разрыва.

Позиция С. Коэна базируется на признании «великого перелома» 1929 года квинтэссенцией сталинской политики – принципиальным отходом от большевистских программных положений. «Большевистские лидеры и фракции, – считает он, – никогда не выступали за принудительную коллективизацию, ликвидацию кулачества, головокружительные темпы развития тяжелой промышленности, полное разрушение рыночного сектора и «планирование», которое на деле было вовсе не планированием, а гипертрофированно централизованным управлением экономикой» [3, с. 66]. Именно годы «великого перелома» обусловили рождение сталинизма и последующие разрывы «непрерывности». По Коэну, все дело в том, что сталинизм воплотил гипертрофированные, экстремальные черты национализма, бюрократизма, деспотизма и карательных репрессий, так называемые «перегибы» и составляют его сущность. Только кажется, что подобные явления можно найти и легко объяснить их происхождение и в других странах. Но в России крестьяне не просто притеснялись, против них велась настоящая гражданская война. Были развязаны не просто полицейские репрессии или террор в стиле гражданской войны, а геноцид десятков миллионов людей. Произошло не просто термидорианское возрождение националистической традиции, а шовинизм почти фашистского толка, не просто культ личности вождя, а обожествление тирана [3, с. 54–55]. Коэн не отрицает, что *непрерывно* возрастающая после Октябрьского переворота централизация и бюрократизация партии, способствовали укреплению однопартийной системы, усилению авторитаризма и личной власти Сталина. Но, ссылаясь на Бухарина, утверждает, что партии большевиков по-прежнему был присущ олигархический характер, она состояла из договаривающихся между собой групп, фракций и течений. Другими словами, сталинизм возник независимо от организационных принципов партии [3, с. 59].

Разумеется, принцип историзма и формальная логика требуют различать большевизм и сталинизм, рассматривать сталинскую систему как феномен, обусловленный большевизмом, но и отличающийся от него. При этом, в соответствии с теми же историзмом и логикой, необходимо выяснение связей преемственности между ними и, значит, аргументов противоположной точки зрения.

Так, к числу соблазнов, ведущих к ошибкам в понимании природы большевизма и сталинизма, относится, по мнению М. Левина, взгляд на революцию как полный разрыв со всей предшествующей российской историей. Сведение революции к личным амбициям и борьбе за власть на верху «…отвлекает от глубокого исследования общественных отношений в течение длительного периода времени или отодвигает на задний план – в лучшем случае» [4, с.16]. В то же время, по мнению Левина, «сталинская система не была продуктом большевистских программ или планов, а возникла в результате отчаянных попыток

справиться с социальным хаосом и кризисами, созданными самим сталинским руководством в 1929–1933 годах» [4, с. 67]. Здесь бросается в глаза тавтология – *«сталинская система, созданная сталинским руководством*, во-вторых, возникают вопросы о мере неизбежности провала большевистских планов и программ, соответственно, о причинах появления сталинского руководства.

Словом, рассуждения о диалектике прерывности и непрерывности рискуют оставаться пустыми, бессодержательными фразами, если мы не увидим конкретно-исторических механизмов детерминации связей преемственности или «разрывов» (скачков) в развитии того или иного социокультурного явления. Характер исследуемого феномена обусловливает внимание к его идеям, принципам, нормам и субъектам, воплощающим их в жизнь. В нашем случае, разумеется, речь должна идти о русской версии марксизма, особенностях внутрипартийной жизни РКП (б), ставшей впоследствии ВКП (б) и, естественно, о самих большевиках. В ограниченных рамках статьи попробуем выяснить некоторые ключевые сюжеты и оценки, характеризующие большевизм и сталинизм.

Начнем с впечатлений, почерпнутых в кратковременной поездке по Советской России английским философом и общественным деятелем Бертраном Расселом еще в 1920 году.

Конечно, можно упрекать Рассела в абстрактности предсказания трех исходов развития той исторической ситуации, которую он застал в России. Первый – конечное поражение большевизма от сил капитализма. Второй – победа большевиков, сопровождаемая полной утратой их идеалов и установлением империалистического режима, подобного наполеоновскому. Третий – затяжная мировая война, ведущая к гибели цивилизации и забвению всех ее достижений, включая идею коммунизма [5, с. 6]. Но вряд ли можно отказать этим прогнозам в логической обоснованности и конкретно – исторической рациональности в их переплетении и контексте действительного будущего большевистской России.

Пафос Рассела нацелен на извлечение уроков из сложившегося положения, невозможное без глубокого уяснения и откровенного обсуждения всех неудач, которые постигли Россию. Полагая, что социализм может неизмеримо превосходить капитализм, он отказывает в этом качестве российскому эксперименту, считая его «куда худшим» (по сравнению с капитализмом, последовательным критиком которого он является), «непреодолимым барьером на пути к дальнейшему прогрессу»; сам же деспотизм, присущий большевикам для него – следствие «нетерпеливой философии, стремления создать новый мир без достаточной подготовки его во взглядах и чувствах простых людей [5, с.12]. Российскую форму социализма английский мыслитель связывает с последствиями мировой и, особенно, гражданской войны – концентрацией власти, милитаристским угаром, утратой достижений цивилизации – превращением в норму ненависти, подозрительности и жестокости.

Психологически точно его замечание о том, что «ненавидеть врагов легче и увлекательнее, чем любить друзей», соответственно, от людей больше озабоченных уничтожением противников, трудно ожидать гуманизма [5, с.13–14]. Отсюда, по его оценке, не стоит удивляться появлению новой бюрократической аристократии, устанавливающей жестокий режим и возрождающей имперский образ мышления, сковывающий свободный ум и разрушающий инициативу, особенно в связи с тем, что Россия, как он считает, только сейчас выходит из средневековья [5, с.28]. Оценивая все исходящее от большевиков, Рассел фиксирует как доктринерскую слепоту марксизма, никогда вполне не осознававшего, что жажда власти является таким же сильным побудительным мотивом и таким же величайшим источником несправедливости, как и страсть к наживе, так и историческую очевидность связи насильственных революций и диктатур меньшинства с деспотизмом [5, с. 77].

Подчеркнем, визит Рассела проходил в 1920 году – почти за год до рубежного по своему значению X съезда РКП (б), проходившего в начале 1921 года на фоне тамбовского и кронштадтского восстания, массовых волнений и забастовок рабочих Москвы, Петрограда и Петроградской губернии, недовольства пролетариата ряда отдаленных губерний. На съезде усилиями Ленина и его сторонников была оборвана традиция и «неписаное право» членов партии иметь свое мнение, образовывать фракции и группы («уклоны») со своими программами, отличающимися от официальной линии ЦК. Свою позицию Ленин выразил недвусмысленно: «…мы должны на съезде прямо сказать: споров об уклонах мы не допустим, мы должны поставить точку…превратить это в обязательство для партии, в закон» [6, с. 28]. Выступление Ленина было подкреплено его недвусмысленной угрозой винтовкой для всех инакомыслящих в партии.

Достаточно ясно в докладе прозвучала мысль о том, что пролетариат больше не может считаться социальной основой диктатуры партии. Диктатура может осуществляться только самой партией, а для этого она должна быть единой и проводить в жизнь официальную единую линию своего руководящего центра.

Резолюции X съезда «О единстве партии» и «О синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии» открыли новую эпоху в истории большевизма, заложили новые нормы внутрипартийной жизни. Хотя формально по уставу выборность партийных чиновников

партийной организацией сохранялась, в действительности на всех ступенях партийной лестницы законом кадровой политики стало назначение. Теперь иерархия партийного аппарата полностью выводилась из под контроля партии, он превращался в самостоятельную силу, диктующую свою волю дисциплинированной партийной массе. «Чистка партии от инакомыслящих, – отмечал А. Авторханов, – превратилась после принятия резолюции Ленина «О единстве партии» в легальное оружие партаппарата по расправе с потенциальными врагами народа» [7, с. 205]. По его мнению, вся разница между Лениным и Сталиным только в том, что при первом партийные чистки были периодическими, а при втором стали перманентными. В любом случае ленинское наследие полностью явлено в сталинской трактовке партии как закрытой и монолитной организации, осажденной крепости, требующей безусловного единоначалия и исключения из ее состава каких-либо иначе думающих меньшинств.

Противники тезиса «непрерывности» порой радикально противопоставляют внутрипартийную жизнь большевиков при Ленине и при Сталине. Действительно, равноправие партийных лидеров, партийное товарищество при всех, порой весомых, расхождениях, жарких спорах и т.п. свидетельствуют в пользу их отличия. Но есть принципиальная разница между жизнью партии в подполье и эмиграции и деятельностью правящей партии, столкнувшейся с провалом своих планов и программ, с ситуацией хаоса, разрухи и нарастающего сопротивления крестьянства и рабочего класса. И уже «мягкий» большевик Бухарин теоретически обосновывает: «Поскольку пролетарская диктатура и ее классический тип – советская система государства – находится в критическом положении, постольку совершенно ясно, что она должна приобрести характер *военно-пролетарской* диктатуры. Это значит, что деловые аппараты управления сжимаются, широкие коллегии сменяются узкими, все наличные организаторы и администраторы из рабочих распределяются наиболее экономным образом» [8, с. 146–147].

Еще более примечательна бухаринская идея о том, что в историческом масштабе «пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи» [8, с. 168].

Вот почему гораздо ближе к истине Каутский, связывающий воедино сталинизм с послеоктябрьской историей России, в которой собрались строить социализм, невзирая на существующие социально-экономические и культурные условия. Коль скоро власть вооруженного меньшинства стремится сохранить свою диктатуру, то сделать она это может через все возрастающую централизацию, превращая диктатуру *одной* партии в диктатуру *одной* личности. В этом случае Сталин оказывается логическим преемником Ленина, уничтожившим возможности политической демократии, открывшимися после Февраля 1917 года. Подчеркивается: преемником логическим – с историко-политической точки зрения, а не в абстрактном плане [9, с. 96]. Политическое насилие над историей не могло не вызвать соответствующих последствий, тем более, что, как одними из первых на это указывали меньшевики, новый бюрократический аппарат рекрутировался из широких люмпенских слоев, как дооктябрьского происхождения, так и умноженных перипетиями мировой и гражданской войн.

Революция, покончив с изжившими себя сословным делением общества и привилегиями господствующего меньшинства, создала широкие перспективы социальной мобильности для прежних «низов» – продвижения наверх – к власти и образованию. По этой причине кадровый состав политических и социальных институтов резко обновился за счет масс неподготовленных, полуграмотных людей – выходцев из деревни (главным образом) и полупролетариата. Аналогичные процессы происходили и в самой партии. К Февральской революции она насчитывала в своих рядах 24 тысячи человек, расширилась до 250 тысяч сразу после Октября 1917 года и достигла одного миллион в 1927 году. В партию хлынула культурно неразвитая и политически безграмотная масса, тогда как элита профессиональных революционеров, опытная политически и подготовленная идеологически, понесла значительной ущерб в ходе революции и гражданской войны. Но дело не только и не столько в потерях «старых» большевиков, которых скоро начнут истреблять «новые» большевики, знаменуя победу сталинизма. Красноречиво свидетельство одного из вождей Октябрьского переворота – Троцкого. По его мнению, в своей борьбе за вооруженное восстание против колеблющихся «старых большевиков» Ленин нашел опору в другом слое партии, уже закаленном, но более свежем и более связанном с массами. В образной терминологии Троцкого, нерешительному высшему руководству (штабу и офицерскому составу), Ленин противопоставил «унтер-офицерский» слой партии, более близкий рядовым рабочим-большевикам. Они не были теоретиками, их обвиняли в максимализме и даже анархизме, зато они были готовы к решительным действиям. По убеждению Ленина, массы левее партии, а партия левее своего верхнего слоя – «старых большевиков» [10, с. 328, 339] Напор масс толкал к более крайним действиям и требованиям при свержении самодержавной власти и решении социальных задач. Манихейская доминанта их сознания предполагала физическое уничтожение «злых сил» – дворян, помещиков,

чиновников, кулаков, предстающих в обиходной лексике мироедами, кровопийцами, паразитами и т.п.

Троцкий страстно отстаивал идею сталинизма как «термидорианского» переворота в большевизме, настаивая на ошибочности отождествления большевизма, Октябрьской революции и Советского Союза. При этом, как это вообще свойственно теоретикам фундаменталистского толка, он оказывался глух и слеп к каким-либо аргументам, не укладывающимся в манихейское понимание истории как борьбы враждебных сил. Он не замечает логического противоречия между утверждением непогрешимости «чистого» большевизма как политического движения рабочего класса и сменой его сталинизмом за счет преобладания миллионов крестьян, разнородных национальностей , наследия гнета, нищеты и невежества, давления варварского прошлого и не менее варварского мирового империализма. «Чистый» большевизм наделяется платоновской «идеальностью», за вырождение же советского государства отвечает «неправильная» социальная реальность. К разряду теоретической демагогии и философской неграмотности относится утверждение о том, что сталинизм «вырос» из большевизма не логически, а диалектически: в «порядке термидорианского отрицания».

Не видит Троцкий закономерных последствий логической цепочки, выстраиваемой им в ортодоксально-большевистском духе. Пролетариат может придти к власти только в лице своего авангарда – партии, кристаллизующей стремление масс добиться освобождения, безгранично доверяющей авангарду и поддерживающий его в завоевании власти. Пролетарская революция и диктатура – дело всего класса, но не иначе, как под руководством авангарда. Советы же только организационная форма связи авангарда с классом, революционное содержание этой форме может дать только партия.

Им не оспаривается связь однопартийной системы с возникновением сталинской тоталитарной системы. Но запрещение других советских партий и фракций внутри самой партии оправдывается как необходимая мера обороны отсталой и истощенной страны, снова относящаяся к внешним обстоятельствам.

Сталинской бюрократии адресован упрек в цинизме термидорианцев – имитации лучших черт большевизма (самоотверженность, бескорыстие, мужество) методами «гангстерства», полицейского принуждения. Здесь Троцкий «забывает» «азы» большевизма – революционную целесообразность, диктатуру, не связанную законом, непримиримость к общечеловеческой морали и т.п., в реальности неотличимых от уголовных нравов.

После мировой и гражданской войн общество в целом, и его важнейшие сферы жизнедеятельности закономерно деградировали, опустились на более низкую ступень развития. Дело даже не в том, что подавляющую часть населения по-прежнему представляло крестьянство, в большинстве своем находящееся в примитивном состоянии; предшествующие коллизии ускоренной индустриализации, избыточное сельское население, последствия войн превратили традиционные слои и группы в маргиналов, люмпенов. Массовая социальная мобильность еще более возросла в период бурно развивающейся урбанизации 20-х годов, коллективизации, трудовых лагерей и т.п. Сопровождаясь не менее массовой дезориентацией, в условиях хаоса и разрухи, всеобщего ожесточения и т.п., она скорее вела к архаизации общественного сознания. В этих условиях сама постановка вопроса о резкой и быстрой смене традиционной ментальности, транслируемой веками от поколения к поколению, на социалистическую, была заведомо утопичной.

Как отмечал А. С. Ахиезер, « к власти пришли люди, четко и однозначно идеологически вставшие на сторону безоговорочной, бескомпромиссной борьбы с мировым злом, с богачами, кулаками, со всеми, чье благосостояние, уровень творчества были выше некоторого уровня, принятого за норму» [11, с. 140]. Замечу, что дело не просто в том, что превышение этой нормы рассматривалось как неправедное достижение, как несправедливость. Сама норма концентрировано выражала представление о должном, относилась к разряду высших ценностей уравнительности. В новом обществе была создана общая нравственная платформа власти и значительной части населения. Позднее она получит официально-торжественное название морально-политического единства советского народа. Правда, в обеспечении этого единства свою роль сыграет социальный геноцид миллионов людей.

Сходную оценку данной ситуации можно увидеть у Федотова, определявшего большевиков (за немногими исключениями) полуинтеллигентами, людьми, выбившимися из самых низов, не ломавших себе голов над книгой, но умелыми экспроприаторами, убийцами – впоследствии чекистами, офицерами гражданской войны и секретарями , подобранными Сталиным [12, с. 87]. Раскрывая детали евразийской «зачарованности» большевиками, Флоровский пишет о «новых русских людях» – мускулистых молодцах в кожаных куртках, бесшабашных авантюристах, вызревших в оргии войны, мятежа и расправы, о гипнозе большевистского пафоса «народоводительства» и волевого пафоса коммунистической идеологии – « скудной и ложной», « но властной до тираничности» [13, с. 360]

Революция, по Бердяеву, обнаружила в русском народе огромную жизненную силу, таившуюся ранее под спудом. Ее прорыв закономерно привел к понижению уровня культуры, поскольку она всегда движется

творчеством сравнительно узкого круга элиты. «Большевики пришли к господству в революции уродливо, с уродливым выражением лица, с уродливыми жестами, (не только потому, что не принадлежали слою культуры) …. У них было много ненависти, мстительности, ressentiment, которые всегда уродливы…» [2, с. 112].

Лаконичную, но емкую характеристику «новобранцам индустриализации» в свое время дал Э. Ю. Соловьев: «Это были антикулацки и антинэповски настроенные двадцати-двадцатипятилетние люди, которые несли с собой завистливую озлобленность, непримиримость, нетерпение, а иногда и грубоуравнительную эсхатологию аграрного люмпена…» [14, с. 171]. Именно они – партийные инструкторы, чекисты, вохровцы и т.п. сыграли роль ударной силы при коллективизации, они диктовали пролетарскую волю технической и гуманитарной интеллигенции.

Чистки 1935–1939 годов уничтожили, по меньшей мере, миллион членов партии, практически полностью истребили старую гвардию большевиков. В 1939 году ВКП (б) на 70 % состояла из людей , вступивших в нее после 1929 года. Их ценности и роль оказались совершенно не такими, как в 1917 или даже 1934 году. Сохраняя определенную роль и престиж, партия уступила политический приоритет репрессивным органам. Утратили свое значение и ее руководящие органы (партийный съезд, Центральный Комитет, а в конечном счете и Политбюро), собиравшиеся теперь крайне редко.

Разрыв со «старым» большевизмом с необходимостью требовал идеологического самооправдания. Для освящения нового культа прежняя версия марксизма-ленинизма была непригодна , хотя усилиями теоретиков типа Бухарина пыталась вписать в нее необходимость жесткой бюрократической иерархии, удушающей любые проявления самодеятельности масс, и появления привилегированных слоев в обществе. Идеологическая перестройка резко ослабила критический характер официального марксистско-ленинского кредо, «придав ему форму строго контролируемого катехизиса, применяемого в четко установленных пределах с одобрения высшей власти»[4, с.42] и сконцентрировалась на поиске аргументов в отечественной истории, позволяющим проводить аналогии между «старыми» и «новым» деспотом. Фигуры Ивана Грозного и Петра Великого прекрасно подходили для нового (под видом коллективизации) закрепощения крестьян, ускоренной индустриализации, создания деспотического государства с тайной полицией (опричниной), безжалостно уничтожающей противников и инакомыслящих.

Бессознательное поначалу, затем все более явное восстановление имперских традиций преследовало не только «историческую» легитимацию современного самодержавия, но и попутное восстановление религиозного отношения к верховной власти, персонифицированной «земным Богом», дополненное реставрацией третьего элемента известного девиза. «Народность» теперь выражалась «Великой Русью», закрепленной в государственном гимне, укрепляющем великодержавное мироощущение. «За православием и самодержавием, то есть за московским символом веры, легко различаются две основные традиции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам – евреям, полякам, немцам и т.д., и столь же острая ненависть к интеллигентам, в самом широком смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику – ко всему средостению между царем и народом» [15, с. 297].

Резкое расширение состава партии выходцами из социальных низов поставило «старую» гвардию в аналогичное положение. Теперь на нее, занявшую командное положение, состоящую во многом из «инородцев» и интеллигентов «в самом широком смысле слова», перенеслось чувство ненависти. Г. Федотов проницательно говорит о зависти, которая сильнее всякой социальной злобы, поскольку рождается из сознания умственного неравенства. Между разными поколениями большевиков образовалась настоящая пропасть. Кровное чувство новых людей, неграмотных самоучек – «…ненависть к интеллигенции, зависть к тем, кто пишет без орфографических ошибок и знает иностранные языки» [15, с. 161]. Далее он формулирует едва ли не ключевое положение о различии между первым поколением социал-демократов и их сменой. Для революционной интеллигенции революция была смыслом жизни, жертвой для народа и во имя народа, представшего в марксистском образе пролетариата. Новые большевики – сам народ, стремящийся к власти, чуждый аскетического отречения, презрительно относящийся к массе, отсталой, тупой, покорной [15, с.160]. Стоит ли после этого удивляться той жестокости, с какой новые поколения большевиков уничтожали бывших партийных вождей. Их личностные, человеческие качества не случайно дублируют черты характера Сталина – жестокость, хитрость, подозрительность, мстительность в сочетании с сильной волей и заурядным интеллектом («серая посредственность)». Поэтому уничтожение первого поколения революционеров, политкаторжан, вождей Октября и гражданской войны – это стирание памяти не столько о Ленине и прежней партии, сколько о прежней второстепенной роли Сталина. Преданность идее заменилась личной преданностью, гарантированной участием в массовых репрессиях.

Ершов Ю. Г.

Отношение «новых» большевиков к «старым» художественно ярко раскрыто в романе Николая Нарокова «Мнимые величины», опубликованном в 1952 году, когда в распоряжении писателя было достаточно пищи для размышления о системе советского террора и психологии большевизма. Чекист Любкин, безжалостно уничтожающий «врагов народа», с течением времени проникается все большим презрением к коммунистической теории и ее приверженцам. «Народ» и «трудящиеся» превратились для него в безличные абстракции – символическое выражение экономических факторов. «Реальный же трудящийся, живой человек, с нервами и с кровью, неминуемо становился для него «врагом народа», и именно оттого, что он был реальный, живой» [16, с. 286]. Гордящийся своим большевизмом, чекист уничтожает живых трудящихся ради абстракции «трудящихся» и, казалось бы, парадоксальное противопоставление большевизма коммунизму становились для него твердой базой существования. «Тайна» этого парадокса проста, поскольку перед нами представитель поколения, прошедшего жестокую школу братоубийственной гражданской войны, воспитавшую презрение к любым теориям. Новые большевики хорошо знают неимоверно упрощенный «катехизис» коммунистической веры, догмы которого при случае могут служить критерием расправы. Но эти догмы скрывают использование данной им власти по собственному произволу, воинствующие невежество и некомпетентность, компенсируемые беспрекословностью выполнения приказов. Для настоящего большевика высшей добродетелью является только сила, подчиненная интересам и дисциплине партии. Они – часть машины, внутренняя логика жизни которой порождает и воспроизводит террор, в том числе и по отношению к самой себе.

В откровенном разговоре Любкина с его соратником, таким же чекистом, ставятся точки над i – «… только во власти дело, а совсем не в Марксе-Ленине!» и утверждается готовность ради власти коммунистическую партию к стенке поставить и ей пулю в затылок всадить – «…ни Бога, ни человека, ни закона» [16, с. 327]. О подобной, по его определению – оригинальной черте русской революции писал Н. А. Бердяев: « В первые годы революции рассказывали легенду, сложившуюся в народной среде о большевизме и коммунизме. Для народного сознания большевизм был русской народной революцией, разливом буйной, народной стихии, коммунизм же пришел от инородцев, он западный, не русский и он наложил на революционную народную стихию гнет деспотической организации, выражаясь по ученому, он рационализировал иррациональное» [2, с. 109]. Оставим в стороне спорный вывод о свидетельстве этой «легендой» женственной природы русского народа, всегда подвергающегося изнасилованию чуждым ей мужественным началом. Не легендой, а крайне неприятным для «старых» большевиков был лозунг «несознательных» рабочих и крестьян, родившийся в том же 1921 году – «За советы, но без коммунистов». Сталинизм уничтожил и Советы, превратив их в декорацию, расправился и с коммунистами, превратив их в дисциплинированных «членов партии», беспрекословно подчиняющихся партаппарату.

Сталинизм со всеми его характерными чертами (уничтожением миллионов людей, закрепощением крестьянства, концлагерями, рабским трудом) – парадоксален. Бердяев увидит парадокс большевизма (подразумевая сталинизм) как третьего явления русского империализма (после московского царства и петровской империи), в котором воля к государственному могуществу оказалась сильнее социальной воли [2, с. 99]. Вся дальнейшая жизнь советского общества происходит в парадоксах столкновения необходимости развития и архаичной формы власти. Возникнув в обществе, сделавшем шаг назад в цивилизационном отношении, сталинизм ценой неимоверных человеческих жертв решает задачи индустриализации и урбанизации, военно-технического прогресса. Ликвидация неграмотности и колоссальное расширение доступа к высшему образованию для молодежи сопрягаются с бескультурьем и невежеством. Провозглашение человека в качестве высшей ценности профанируется идеологическим диктатом, подавлением личности и общественной самоорганизации. Наконец, большевистский проект социализма, вдохновлявший на труд и творчество многомиллионные массы, обернулся созданием социальной системы, не имеющей перспективы социального прогресса.

Большевизм на всем протяжении своего существования претерпевает серьезные изменения, касающиеся форм проявления его базовых характеристик. Поэтому правомерно выделять в качестве стадий его эволюции «хрущевский», «брежневский» большевизм, что, кстати говоря, делает небезынтересной постановку вопроса о горбачевской «перестройке» как том самом термидорианском перевороте. В то же время в качестве большевизма он сохраняет следующие родовые черты:

- социальная база в виде деклассированных общественных прослоек и групп, объединенных опекой патерналистского государства;
- монопартийная политическая система, построенная по принципу закрытой организации мафиозного типа;
- концентрация политической деятельности на проблеме захвата и удержания государственной власти;
- бюрократизация государственного управления, создающее привилегированное меньшинство – «номенклатуру»;

• применение внеправовых, насильственных методов социального управления и контроля;

• запрет свободы слова и мысли, совести и вероисповедания;

• идеология классовой ненависти, государственной автаркии и национально-государственной исключительности;

• огосударствление экономики и массовое применение преимущественно внеэкономических форм принуждения к труду;

• консервация принудительно определяемых индивидуальных и общественных потребностей.

Разумеется, в этом эскизном наброске большевизма преобладают широкие мазки, не учитываются специфические исторические ситуации типа «нэпа», частичной реабилитации РПЦ в годы Великой Отечественной войны, «оттепели» и еще многое другое. Но в целом все вышеизложенное позволяет сделать вывод о непрерывности большевизма на все протяжении его истории и о сталинизме как крайней, экстремальной форме большевизма.

Извлечение уроков из истории большевизма позволяет объяснить главные причины «ресталинизация» массового сознания в современной России. Во-первых, это воспроизводство, в большой или меньшей мере, в политических и культурных практиках отмеченных характерных черт большевизма, во-вторых, разрушительные последствия бездумного реформирования общественных отношений, углубляющие отчуждение между привилегированными группами собственников и широкими слоями социальных низов.

Литература:

1. Джерратана В. Сталин, Ленин и марксизм-ленинизм // Марксизм в эпоху III Интернационала. Том 3. Часть вторая. От кризиса 1929 годы до XX съезда КПСС / Пер. с итальянского. Выпуск первый. М.: Прогресс, 1984. С. 15–51.
2. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. М.: Наука, 1990. 224 с.
3. 7. Коэн С. Большевизм и сталинизм // Вопросы философии. 1989. № 7. С. 46–72.
4. Левин М. Борьба со сталинизмом // Марксизм в эпоху III Интернационала. Том 3. Часть вторая. От кризиса 1929 годы до XX съезда КПСС / Пер. с итальянского. Выпуск первый. М.: Прогресс, 1984. С. 15–51.
5. Рассел Б. Практика и теория большевизма / Пер. с английского издания 1920 года. М.: Наука, 1991. 126 с.
6. Десятый съезд РКП (б). Стенографический отчет. М.: Госполитиздат, 1963. 727 с.
7. Авторханов А. X съезд и осадное положение в партии // Новый мир. 1990. № 3. С. 193–205.
8. Бухарин Н. И. Экономика переходного периода // Проблемы теории и практики социализма. М.: Политиздат, 1989. С. 94–177.
9. Сальвадори М. Л. Марксистская критика сталинизма // Марксизм в эпоху III Интернационала. Том 3. Часть вторая. От кризиса 1929 годы до XX съезда КПСС / Пер. с итальянского. Выпуск первый. М.: Прогресс, 1984. С. 91–139.
10. Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990. 447 с.
11. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Том II. М.: Изд – во ФО СССР, 1991. 377 с.
12. Федотов Г. П. Сталинократия // Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2-х тт. Т. 2. СПб.: София, 1991. С. 83–97.
13. Флоровский Г. В. Евразийский соблазн // Мир России – Евразия: Антология / Сост. Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. М.: Высш. шк., 1995. С. 354–385.
14. Соловьев Э. Ю. Правовой нигилизм и гуманистический смысл права // Квинтэссенция: философский альманах / Сост. В. И. Мудрагей, В. И. Усанов. М.: Политиздат, 1990. С. 162–235.
15. Федотов Г. П. Революция идет // Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2-х тт. Т. 1. СПб.: София, 1991. С. 127–172.
16. Нароков Н. Мнимые величины. Роман. М.: Гудьял Пресс, 2000. 368 с.

References:

1. Dzherratana V. Stalin, Lenin and Marxism-Leninism // Marxism in the era of III International. Volume 3. Part two. From the 1929 crisis years up to the 20th Congress of the CPSU / Transl. from Italian. Issue one. M.: Progress, 1984. P. 15–51.
2. Berdyayev N. A. Origins and meaning of Russian communism. Reprint Edition YMCA-PRESS, 1955. M.: Nauka, 1990. 224 p.
3. Cohen S. Bolshevism and Stalinism // Voprosy filosofii. 1989. № 7. P. 46–72.
4. Levin M. Struggle against Stalinism // Marxism in the era of III International. Volume 3. Part two. From the 1929 crisis years up to the 20th Congress of the CPSU / Transl. from Italian. Issue one. M.: Progress, 1984. P. 15–51.
5. Russell B. Practice and theory of Bolshevism / Transl. from the English Edition of 1920th. M.: Nauka, 1991. 126 p.
6. The 10th Congress of the Russian Communist Party (b). The verbatim record. M.: Gospolitizdat, 1963. 727 p.
7. Avtorkhanov A. The X Congress of the party and its siege // Noviy mir. 1990. № 3. 3. 193–205.
8. Bukharin N. I. Economy of transition // Problems of theory and practice of socialism. M: Politizdat, 1989. P. 94–177.

9. Salvadori M. L. Marxist critique of Stalinism // Marxism in the era of III International. Volume 3. Part two. From the 1929 crisis years up to the 20th Congress of the CPSU / Transl. from Italian. Issue one. M.: Progress, 1984. P. 91–139.
10. Trotsky L. D. On the history of the Russian revolution. M: Politizdat, 1990. 447 p.
11. Akhiezer A. S. Russia: criticism of historical experience. Vol. II. M.: Published by FO USSR, 1991. 377 p.
12. Fedotov G. P. Stalinocrasy // Destiny and sins of Russia. Featured articles on philosophy of the Russian history and culture. In 2 volumes. V. 2. Spb.: Sofia, 1991. P. 83–97.
13. Florovsky G. V. Eurasian temptation // World of Russia-Eurasia: an anthology / Compl. by L. I. Novikova, I. N. Sizemskaya. M: Visshaya Shkola, 1995. P. 354–385.
14. Solovyov E. Yu. Legal nihilism and humanistic sense of law // Quintessence: a philosophical anthology / Compl. by V. I. Mudragey, V. I. Usanov. Moscow: Politizdat, 1990. P. 162–235.
15. Fedotov G. P. Revolution is proceeding // Destiny and sins of Russia. Featured articles on philosophy of the Russian history and culture. In 2 Volumes. V. 1. Spb.: Sofia, 1991. P. 127–172.
16. Narokov N. Imaginary values. Novel. M.: Gudyal Press, 2000. 368 p.